

ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ  
ИВАНОВ

**И**ванов Вячеслав Иванович (28.02.1866, Москва — 16.07.1949, Рим), рус.<ский> поэт, мыслитель, историк и филолог. Род.<ился> в разночинской семье с малыми ресурсами в материальном и культурном отношениях, но равнейшей к культуре; особое влияние на него оказала мать, соединявшая правосл.<авную> набожность с романтич.<еским> благоговением перед нем.<ецкой> поэзией и ученостью. «Ежедневно прочитывали мы, — вспоминал поэт о своем отрочестве, вместе по главе из Евангелия. Толковать евангельские слова мать считала бескусным, но подчас мы спорили о том, какое место красивее... Эстетическое переплеталось с религиозным и в наших маленьких паломничествах по обету пешком, летними вечерами, к Иверской или в Кремль, где мы с полным единодушием настроения предавались сладкому и жуткому очарованию полутемных старинных соборов с их таинственными гробницами». Однако после таких настроений, особенно сильных в возрасте ок.<оло> 12 лет, подросток приходит к атеизму и сочувствует революционерам. Образ Христа сохраняет для него привлекательность, но переосмыляется в духе либер.<альных> идей: еще в гимназич.<еские> годы возникает поэма об искушении Христа в пустыне (как напоминает картина Крамского, тема эта была дорога неверующей, но любившей евангельскую образность интеллигенции тех десятилетий). Герой поэмы выдерживает испытание, дабы приступить к проповеди атеистич.<еского> гуманизма в духе Фейербаха: *«Да будет горд и волен человек»*. Окончив гимназию и поступив на ист.<орико>-филос.<офский> фак<ультете>-т Мос.<овского> ун<иверсите>-та, И.<ванов> обратил на себя внимание профессоров способностями к древним языкам. От психологич.<еской> атмосферы юного нигилизма остается все меньше: поэма о еврейском мальчике, горящем запретной для него, но неодолимой

любовью ко Христу, прозрачно маскирует чувства автора, присягнувшего атеистич.<еским> прописям, но рвущегося к вере. Однако до вступления И.<ванова> в литературу было далеко. Впоследствии он писал: «До 1903 года я не был литератором». 1886 он уехал в Германию, где 9 семестров занимался древней историей у Т. Моммзена и О. Гиршфельда в Берлинском ун-те, работая над сугубо академич.<еской> темой (о госуд.<арственных> откупах в Риме), затем продолжил свои занятия в Париже и в Италии; в 1893 <году> в Риме произошла его встреча с Л.Д. Зиновьевой-Аннибал — писательницей и яркой личностью в стиле т. н. «серебряного века», тоже шедшей к вере от интеллигентского мятежа; с ней его до конца ее дней (1907) соединили как страстная любовь, так и совместное диалогич.<еское>, обсуждение идей.

Между тем стихи И.<ванова> были показаны Влад.<имиру> Соловьеву и снискали его живое одобрение. «С тех пор, в течении нескольких лет, — рассказывает поэт в автобиографии, письме С.А. Венгерову, — я имел с ним важные для меня свидания, всякий раз, как приезжал в Россию. Он был и покровителем моей музыки, и исповедником моего сердца». А в записи разговора с М. Альтманом от 5 октября 1921 г. мы читаем: «Я с великим восторгом принял высокую оценку Соловьева и в свой ближайший приезд в Петербург познакомился с ним. [...] Когда я готовился к изданию своего первого сборника стихов, он собирался написать обо мне большую статью. Но этому не суждено было исполниться. Последний раз я видел его в 1900 году, за полтора месяца до его смерти. Мы с ним ехали в фаэтоне, и я ему сказал, что нашел название для своего сборника: “Кормчие звезды”. “Кормчие звезды, — сказал он, — сразу видно, что автор филолог; сравни: “Кормчие книги” — “Кормчие звезды”, повторил он, это хорошо». Заключит.<ельным> аккордом общения И.<ванова> с Влад.<имиром> Соловьевым стала поездка И.<ванова> и Зиновьевой-Аннибал под конец июля 1900 г. в Киево-Печерскую Лавру для совместного причащения, подготовленного исповедью и молитвой. Впервые с детских лет этот верховный акт правосл.<авной> религ.<иозной> жизни совершался ими по убеждению. Собственно, Соловьев и не знал об этом поступке; но чета была убеждена, что действует в послушании ему, и поспешила известить его о происшедшем телеграммой. Неизвестно, успели ли он принять весть: 31 июля 1900 г. философ скончался. Уже в 1944 г. И.<ванов> поминал его стихами:

Четырешасть и четыре  
 В войне, гражданских смутах, мире  
 Промчалось года с дня того,  
 Как над Невой мы с ним простились,  
 И вскоре в Киеве постились,  
 Два богомольца, за него,  
 В церковном послушаньи русском  
 Утверждены. У друга, в Узком,  
 Меж тем встречал он смертный час.  
 Вмещен был узкою могилой,  
 Кто мыслию ширококрылой  
 Вмещал Софию. Он угас;  
 Но всё рука его святая,  
 И смертью не отнятая,  
 Вела, благословляя, нас.

В отношении историко-литературном духовная связь с Соловьевым впоследствии локализовала И. <ванова> в кругу рус. <ского> символизма вместе с на много младшими Александром Блоком и Андреем Белым как «*соловьевцев*». «...*Оба Соловьевым // Таинственно мы крещены*», — писал И. <ванов> Блоку в 1912 году. А в плане личного пути паломничество в Киево-Печерскую Лавру заставляет поставить сложный вопрос о христ. <ианском> обращении поэта. Очевидно, что вера И. <ванова> в Бога больше не знала сомнений: с мистич. понятиями тайны и таинства, откровения и знамения («*символа*»), у него после отроческого и юношеского кризиса трудностей уже не было — он словно бы знал бытие Божие из непосредств. опыта. С чем у него долго были трудности (как у всей культуры, российской и всевропейской, к <ото>-рой он принадлежал и к <ото>-рая через свой опыт впервые открывала перспективы, столь опасно актуальные сейчас, в канун сроков, провозглашенных глашатаями *New Age*), — так это с понятием заповеди, ясного и однозначного Божьего запрета на грех. На изживание этих трудностей ушла последовавшая четверть века — вплоть до сер. <едины> 20-х гг.

Между тем заграничные скитания продолжаются (Париж, Женева, Рим, Лондон, Каир, с 1902 *Ville Java* возле Женева, 1902 Греция с поездкой в Палестину, занятия санскритом у Де-Соссюра в 1903 в Женеве). В 1903 <году> выходит первый поэтич. <еский> сборник «Кормчие звезды». И. <ванов> читает в Париже лекции о греч. <еской> религии Диониса в Свободном Универси-

тете Социальных Наук, основанном для русских Ковалевским. Именно там происходит встреча с Брюсовым, ознаменовавшая вступление И.<ванова> в круг рус.<ского> символизма. Только ранней осенью 1905 <года>, под впечатлением от нарастающих революц.<ионных> событий, И.<ванов> и Зиновьева-Аннибал возвращаются в Россию и поселяются в Петербурге. Довольно поздно войдя в лит.<ературную> жизнь, И.<ванов> быстро оказывается одной из центр.<альных> фигур «серебряного века». Уже осенью 1905 <года> в петербургской квартире И.<ванова> (Таврическая, 25), получившей за свою округлую форму наименование «Башни», начинаются «среды» под бессменным председательством Бердяева, продолжавшиеся с перерывами до 1910, ставшие мифом и притчей во языцех. Но даже и тогда, когда специфическая форма журфикса вызвала слишком непомерный наплыв чужих людей, описанный Андреем Белым — *«Дверь — в улицу: толпы валили...»*, — и «среды» как таковые были отменены, «Башня» оставалась местом встреч поэтов, людей искусства и философов, ареной диспутов и умственных игр, вплоть до отъезда И.<ванова> в Италию летом 1912 г. Пора «Башни» — апогей воздействия Вяч. Иванова на самоосмысление и самооформление новой рус.<ской> культуры, предел его внешней славы, оборотной стороной которой были сплетни и насмешки. Если он когда был средоточием целой эпохи, «царем самодержавным», как выразится позднее Блок, то именно в ту пору. Однако О. Шор-Дешарт, имевшая возможность почувствовать многое из личного контакта с Вяч. Ивановым, настаивает на том, что сам он воспринимал эту «победную пору» своей жизни менее всего радужно. Дочь поэта Лидия также выразительно говорит в связи с концом «башенного периода»: *«У меня было ощущение, точно рассеялась та туча и тот морок, которые висели над нами в Петербурге даже и в радостные минуты»*. В дневниках И.<ванова> из этого времени мы встречаем характерные записи: *«Гашиш фантазии, воссоздавая из намека осуществления, довольно водил меня, за это последнее время, “по садам услад”»*. (1 июня 1906); *«Строгости большей и большей чистоты требует от меня жизнь.[...] Два года я ношусь над землей между фантазмагорией и потусторонней истиной, и дух мой глубоко устал в этих попытках различения между сном и действительностью...»* (27 июня 1909). Темы «Башни» при несомненном многообразии связаны с тем антропологич.<еским> кризисом, к<ото>-рый является в наше время, ставя под вопрос основы человек.<еской>

ориентации, напр. <имер>, в вопросах пола, и обнаруживая тяготение к т.н. эзотерике.

Обобщивший опыт эпохи «Башни» сборник «*Cor ardens*», I—II, вышел только в 1911 г.; людям той эпохи (например, М.М. Бахтину) именно он запомнился как предельная вершина ивановской поэзии. Доводимое поэтом до конца дефинитивное исчерпание тем и поэтики символизма осуществляется в неутомимых вариациях, артикулирующих аспекты многозначности ключевых символов — *солнце-сердце*, *роза*, струение *вод* и т.д. Чувственная техника звука достигает зрелости, после которой дальнейшее развитие в том же направлении невозможно. Второй том, поэтика которого остается в большей степени той же, человечнее, самоуглубленнее первого хотя бы потому, что весь стоит под знаком памяти о *милой могиле*, т. е. о смерти Зиновьевой-Аннибал, к-рую поэт продолжал оплакивать всю жизнь.

Линия притихшего, медитативного лиризма была продолжена в след.<ующем> сборнике «Нежная Тайна», появившемся в 1912 г. Его тема — радость с заплаканным лицом, радость сквозь слезы. Последняя любовь поэта была воспринята им как возвращение прежней любви; он влюбляется в черты умершей, узнаваемые в ее *дочери* — Вере Шварсалон, падчерице И.<ванова>, которая становится его женой (венчание совершилось летом 1913 <года> — у того же греч.<еского> священника, к<ото>-рый венчал И.<ванова> с Зиновьевой-Аннибал). Разумеется, брак этот вызвал немалый скандал в обеих русских столицах; но поэт переживал свое позднее счастье без тени демонизма, от которого делается дальше, чем когда-либо перед этим. Тема нового сборника «Нежная Тайна» (1912), — счастье, ни на минуту не забывающее о *милой могиле*. Многие стихи посвящены вниканию в единство жизни и смерти, любви и скорби, радости и утраты.

В пору I мировой войны жизнь И.<ванова> характеризуется личной дружбой и идейным союзом с такими ревнителями православия, неославянофильства и платонизирующего «*онтологизма*», как о. Павел Флоренский и особенно В.Ф. Эрн. Раннюю смерть Эрна в 1917 г. Вяч. Иванов воспел с высокой хвалой духовной высоте покойного друга («Оправданные», «Деревья»). Принципиально новая творч.<еская> инициатива тех лет — «Человек» (1915, завершение 1918—1919). Это филос. поэма со связным течением мыслей, построенная как цикл лирич.<еских> стихотворений («мелопея»). 1-я часть имеет заглавие «Аз есмь», 2-я — «Ты

еси»; это размышление о смысле самосознания как дара, который вне любви к человеческому и Божьему «Ты» превращается в проклятие Люцифера — замкнутость в себе. Благодать — сказать «*Ты еси*»:

Совершается Церковь, когда  
Друг другу в глаза мы глядим...

3-я часть — «Два града» по форме венков сонетов, представляет собой историсоф.<ское> размышление о пути человечества как вечном споре, по слову Блаж.<енного> Августина, *между любовью к себе, доведенной до презрения к Богу, и любовью к Богу, доведенной до презрения к себе*. В 4-й части, первоначально не запланированной, — «Человек един» — Вяч. Иванов берет еще более высокую пророчесственную ноту, предрекая новый опыт сверхлично-личного всечеловеч.<еского> единства живых и мертвых:

Вас, колыбельные могилы,  
Возврата позднего посул,  
И вас, как океанский гул,  
Живых бушующие силы, —  
Днесь равночисленный звездам,  
В грядущем и былом единый,  
Как половину с половиной  
Смыкает целостный Адам...

Все завершается эпилогом — видением живого храма, составленного из семейств человеческих душ, и переложением известной православной молитвы к Святому Духу. В отличие от Блока и Андрея Белого, И.<ванов> не нашел для себя реальность Октября вдохновляющей: для него была неприемлема атеистич.<еского> компонента большевистской идеологии. Одновременно он подчеркивал, что сердиться на революцию за то, что она означает бесповоротный конец прошлого» для него невозможно. В письме франц.<узскому> писателю Шарлю дю Босу, написанном уже за границей, в 1930 г., он оглядывается еще раз на революцию, упоминая «вопрос, поставленный ею перед совестью каждого: “*Ты с нами или с Богом?*”» И он продолжает: «Если бы я не принял стороны Бога, то уж не ностальгия по былому увела бы меня от бесноватых вселенской религии навыворот». Это неприятие ностальгии логично для поэта, еще в 1915 г. предрекавшего

в мелкое «Человек» огненное обновление. Большевизм был для И.<ванова> прискорбным одичанием, эпидемией «буйственной слепоты, одержимости и беспамятства» (из статьи 1918 г. «Наш язык», подготовленной для запретного сборника «*De profundis*» [«Из глубины»]), одного участия в к<ото>-ром достаточно, чтобы опровергнуть утверждение в бердяевском «Самопознании», будто поэту случалось в сов.<етский> период быть коммунистом); для всего мировоззрения поэта весьма характерна особая чувствительность к двум аспектам большевистской идеологии — к негации, во-первых, религ.<иозного> измерения, во-вторых, историч.<еского> измерения человеч.<еской> жизни. В Баку И.<ванов> будет говорить своему студенту М. Альтману, в тот момент пробольшевистски настроенному, что большевизм, отрицая религию, погрешает против Отца, отрицая личное начало, — против Сына, отрицая свободу — против Св. Духа.

В 1924 г. И.<ванов>, воспользовавшись успехом своей речи на Пушкинских торжествах в Москве, выхлопотал, наконец, разрешение выехать за границу, которое было оформлено как командировка на неопределенный срок, но включало детей; 28 августа все трое отправились в многодневный путь. То, что И.<ванов> направил свой путь именно в Рим, легко объясняется из всей предыдущей биографии поэта; это место, где были прожиты счастливые времена встречи с Лидией. Однако имелись и другие мотивы. О них ясно говорит сын поэта Д.В. Иванов: «Он мог бы отправиться, например, в Париж: многие русские обретались там. Но он не хотел оказаться в центре эмиграции. Я думаю, что у него вызывало сомнения то ложное подобие России, которое складывалось там из всех этих движений, антидвижений издательств, журналов; я думаю, что он действительно хотел от всего это уйти. А Рим был город без эмигрантов. [...] Далее, он не хотел разрываться с Россией» (D'Ivanov a Neuvecelle. *Entretien avec Jean Neuvecelle recueillis par R. Aubert et U. Gfeller*, Montricher, Suisse, 1996, p. 85). В контексте политич. аффектов начала 20-х для И.<ванова> было обосновано по соображениям прагматического благоразумия, как и собственного достоинства, решение — не связывать своих жизненных планов с изд-вами и журналами рус.<ской> диаспоры. Все надежды на контакты с внутрисовет.<ским> читателем, хотя бы лишь в качестве ученого или стихотв. переводчика, были бы загублены (написанным уже в Риме статьям случалось дойти до отечеств.<енного> читателя: «“Ревизор” Гоголя и комедия Арис-

тофана» в «Театральном Октябре», I, 1926, «К проблеме звукооб-  
раза у Пушкина», «Московский пушкинист. Статьи и материалы  
под ред. М.А. Цявловского», II, 1930; долго не умирала надежда  
на публикацию переводов — перевод «Орестей» Эсхила появился  
после кончины И.<ванова> и без его имени); обещание, данное  
при отъезде Луначарскому, который поручился за поэта и нако-  
нец-то выхлопотал ему разрешение покинуть СССР, было бы на-  
рушено; с другой стороны, страсти кипели, и русские беженцы не  
спешили признавать за своих людей литераторов, служивших при  
большевиках, да и выехавших с советским паспортом. Конечно,  
были причины и более глубокие, коренившиеся не в обстоятель-  
ствах, а в самом составе личности. Мы уже обсуждали в самом  
начале статьи глубокое отталкивание самой природы Вяч. Иванова  
от психологич.<еского> комплекса эмигрантства. С другой сто-  
роны, красноречиво признание из только что процитированного  
письма Степуну: «В России жить не хочется, п.<отому> ч.<то> я  
рожден ἑλεύθερος [«свободным»], и молчание там оставляет при-  
вкус рабства».

В стихах И.<ванова> католич.<еские> темы присутство-  
вали, начиная с обоих первых сборников (образы Бенедикта,  
Франциска, Елизаветы Венгерской); в его многочасовых рим-  
ских дискуссиях 1912 г. с Эрном, — постоянной темой была, по  
свидетельству дочери, *апология католичества*; в статье 1914 г.  
«Славянская мировщина» он утверждает о (славянофильски иде-  
ализируемой) Чехии, что она «как бы не ведает, в своем молит-  
венном созерцании, внешнего и поверхностного разделения единой  
церкви между запечатленным вертоградом Востока и выявленным  
и раскрытым в своем историческом делании христианством Запа-  
да»<sup>1</sup>. А 20 июня 1921 <года> И.<ванов> шутливо грозился Аль-  
тману; «*Поеду за границу и поступлю монахом в Бенедиктинский  
орден*»; контекстуально обусловленная несерьезность тона не ме-  
шает ясности относительно предмета, около которого постоянно  
кружились его мысли, получившие исходный импульс от идей  
Влад.<имира> Соловьева, а теперь стимулированные поставлен-  
ным большевистской революцией вопросом об угрозе вселенс-  
кому христианству. 17.03.1926 г. И.<ванов> просил принять его  
в евхаристическое общение с Католической Церковью. С точки  
зрения самого И.<ванова>, важно, что это не было «переходом»  
из одной конфессии в другую, которая предполагала бы выход  
из Церкви православной; в связи с этим И.<анов> отказался



от принятой для конвертитов процедуры, предложив прочесть вместо этого известное место из книги Влад.<имира> Соловьева «Россия и Вселенская Церковь», открывающееся словами: «Я, как сын Православной Греко-Русской Церкви, истинной и досточтимой...» что создало пред.<еленные> затруднения с Сант Уффичио. В принципе о «переходе» И.<ванова> в католичество позволительно говорить не более, чем о таком же «переходе» несомненно бывшего для него образцом Влад.<имира> Соловьева, который, как известно, счел для себя возможным и нужным причаститься у католич.<еского> священника. Позднее мысль и поэзия И.<ванова>, отражая настроение сделанного шага, весьма далеки от какого бы то ни было негативизма по отношению к правосл.<авной> традиции. В его переписке с Семеном Франком (уже в 1947 г., в самом конце жизни поэта) мы видим наряду с защитой роли Рима в соврем.<нном> мире отголоски отнюдь не отброшенных поэтом славянофильских воззрений. А в стихах 2 февраля 1944 г. мы встречаем поэтич.<еское> сопоставление католич.<еского> и правосл.<авного> народного благочестия, проведенное так, что чаша весов отнюдь не спешит склоняться в пользу католического Запада.

...Здесь креста поднять на плечи  
Так покорно не умеют,  
Как пред Богом наши свечи  
На Востоке пламенеют.

Остается нерешенной проблема трудоустройства; И.<ванов> готов ехать профессорствовать в Каир или в Аргентину, однако в Каире было неприемлемо все еще удерживаемое поэтом совет.<ское> гражданство, а в Аргентине все планы сорвал очередной военный переворот. Осенью 1926 г. И.<ванов> был приглашен профессором иностр.<анных> языков в павийский Колледжо Борромео. Поскольку там все было рассчитано на преподавателей из безбрачного духовенства, дети должны были оставаться в Риме (где заботы о них приняла приехавшая в 1927 г. О.А. Шор), и даже визит являлся некоторой проблемой; педагогич.<еской> работы было очень много, скорее «туторской» или доцентской, нежели приличествующе профессору. В 1934 г., однако, место в Колледжо Борромео было упразднено по соображениям экономики. Тогда же И.<ванов> был избран орд.<инарным> профес-

сором Флорент.<ийского> университета, но муссолиниевское министерство предпочло назначить на открывшуюся вакансию фашиста. Поэт вернулся в Рим, где ему некот.<оторое> время приходилось перебиваться приработками в экзаменац.<ионных> комиссиях; затем он получил возможность преподавать перк.<овно>-слав.<янский> язык в католич.<еских> высших учеб.<ных> заведениях — в Руссикуме, затем также в Ориентале. В память учащихся входил его образ, как в этом порой приходится убеждаться и сегодня.

Начиная с 1928 г. главным лит.<ературным> трудом И.<ванова> была прозаическая «Повесть о Светомире Царевиче» — «баснословие» на темы истории Мос.<ковской> Руси от Дмитрия Донского до Василия III в теснейшем переплетении с автобиографич.<ескими> мотивами, написанное ритмическим и весьма архаическим слогом. Поэт с большой непринужденностью ткёт славянское «плетение словес» в духе Епифания Премудрого. Такая проза не может иметь много читателей; но кто знает и любит просвечивание в славянизмах «божественной эллинской речи», с сочувствием отнесется к серьезной игре. Между тем на фоне рус.<ской> литературы лежащий в основе «Повести» казус — Владарь как маска и обличие самого автора, иначе говоря, олицетворение государственности как субститут поэта — предстает достаточно необычным. Рус.<ские> поэты, ведшие свою тяжбу с неласковой властью, так любили противопоставлять свой удел, вольный, тихий, якобы безвластный и потому невинный, — демонич.<ескому> ужасу власти. И.<ванов> не может позволить себе этих наивных игр; с духовным реализмом, глубина которого должна быть по достоинству отмечена, он видит бытие поэта не как праведно-безвластное, но как царственно-властное; не как противоположность, но как аналог и эквивалент сверхчеловечески-нечеловеческому кипению государственных, державных стихий. Никак не поэт, владеющий особого рода мощью, да еще магической, и расплачивающийся за нее тяжелыми духовными опасностями, а только Светомир, безвластно-невинное юродивое дитя, может преодолеть, очистить и оправдать бремя вины, которое тяготеет и над судьбами истории, и над путями творчества. Но такое оправдание по сути своей внеположно, трансцендентно всему, что поэт знает по себе самому о себе самом — и о властелинах мира сего. О трансцензусе в конечном счете можно знать не из эмпирии, но только верой. Не следует, конечно, пре-

увеличивать: история русской святости от первых «блаженных» до преп.<одобного> Серафима, имя которого дано Светомиру, народная поэзия русских «духовных стихов», столь любимые рус.<ской> традицией образы ненасильственной жертвенности (например, свв. Борис и Глеб), мученического младенчества (например, царевич Димитрий) и светлого юродства (самые различные святые, отнюдь не только юродивые в смысле терминологическом), — всё это давало материал для конкретизирующей разработки образа Царевича. И всё же образ этот по самому своему заданию, не только агиографическому, но и прямо эсхатологическому, едва ли вполне случайно остается видимым для читателя скорее из дали, чем вблизи. Ведь это ни больше, ни меньше, как видение умопостигаемой Святой Руси, существенно отличное от всего, что дает эмпирич.<еская> рус.<ская> история, хотя бы и переработанная в сгущающий миф. Недаром часть «Повести...», дописанная самим И.<вановым>, знаменательно завершается текстом, даже в чисто языковом отношении трансцендирующим то равновесие русских и церк.<овно>-славянских элементов, которое характерно для произведения в целом. Текст этот имеет заглавие: «Послание Иоанна Пресвитера Владарю царю тайное». Как известно, овеянное легендами христ. царство в Индии, будто бы управляемое царем-священником (в котором снято противоречие между властелином и мистиком, т. е. между миром Владаря и миром Светомира), было в Ср.<едние> Века любимейшим докусом теократич.<еской> утопии. Что до стихов, то после великолепных «Римских сонетов» осени 1924 г. наступает продолжительная пауза: уделом поэта становятся «молчанья дикий мед и жесткие акриды». Нежданный возврат поэтического дыхания приходит уже во время второй мировой войны. В стихотворном «Римском дневнике 1944 года» возникают воспоминания долгой жизни, раздумья о смысле прожитого, но также образы «мрачной кутерьмы» — тяготы войны и ужасы немецкой оккупации Вечного Города.

Сколько-нибудь широкая европ.<ейская> рецепция наследия И.<ванова> началась в период между двумя войнами с «Переписки из двух углов» (совместно с М.О. Гершензоном, 1920), печатавшейся с приложением рел.<игиозно>-филос.<овских> писем И.<ванова> Ш. Дю Босу и А. Пеллегрини; характерно количество переводов и переизданий (напр., нем.<ецкий> перевод выходил в разл.<ичных> изд.<ательств>-вах 1926, 1946, 1948, 1949

<гг.>). До сих пор в Европе приходится встречать образованных и более или менее христиански настроенных людей старших поколений, к<ото>-рые ничего больше не знают об И.<ванове>, но хорошо помнят эту книгу. Новое внимание к мысли, творчеству и биографии И.<ванова> пробуждается и в России, и за ее пределами в последнее время. Начиная с 1981, каждые 3 года происходят посвященные И.<ванову> межд.<ународные> симпозиумы. 2-й симпозиум имел место в 1983 <году> в Риме; в связи с ним Папа Иоанн-Павел II произнес речь, в к<ото>-рой, в частности, вспоминал неоднократно цитируемые им слова И.<анова> о Востоке и Западе как «двух легких» вселенского христианства.

*Примечания*

<sup>1</sup> Вяч. Иванов, *Собр. соч.*, т. IV, с. 658.

